

*С благодарностью Наташе Червинской —
читателю, советчику, врачу*

1

Отец ребенка, Александр Сигизмундович Левандовский, с демонической и несколько уцененной внешностью, с гнутым носом и крутыми кудрями, которые он, смирившись, после пятидесяти перестал красить, с раннего возраста обещал стать музыкальным гением. С восьми лет, как юного Моцарта, его возили с концертами, но годам к шестнадцати все застопорилось, словно погасла где-то на небесах звезда его успеха, и молодые пианисты хороших, но обыкновенных способностей стали обходить его, и он, окончив с отличием Киевскую консерваторию, постепенно превратился в аккомпаниатора. Аккомпаниатор он был чуткий, точный, можно сказать, уникальный, выступал с первоклассными скрипачами и виолончелистами, которые за него несколько даже боролись. Но строка его была вторая. В лучшем случае писали на афишке «партия фортепиано», в худшем — две буквы «ак.». Это самое «ак.» и составляло несчастье его жизни, всегдашнее жало в печень. Кажется, по воззрениям древних, именно печень более всего страдала от зависти. В эти гиппокра-

товские глупости, разумеется, никто не верил, но печень Александра Сигизмундовича и в самом деле была подвержена приступам. Он держался диеты и время от времени желтел, болел и страшно мучился.

Познакомились они с Верочкой Корн в лучший год ее жизни. Она только что поступила в Таировскую студию, еще не приобрела репутации самой слабенькой студийки, наслаждалась интересными разнообразными занятиями и мечтала о великой роли. Это были предзакатные годы Камерного театра. Главный театровед страны еще не высказал своего священного мнения о театре, назвав его «действительно буржуазным», — это он сделает несколько лет спустя, еще царила Алиса Коонен, а Таиров и впрямь позволял себе такие «действительно буржуазные» шалости, как постановку «Египетских ночей».

В театре по традиции справляли старый Новый — тридцать пятый — год, и среди множества затей, которыми забавляли себя изобретательные актеры в ту длинную ночь, был конкурс на лучшую ножку. Актрисы удалились за занавес, и каждая, приподняв его край, целомудренно выставила на обозрение бесфамильную ногу от колена до кончиков пальцев.

Восемнадцатилетняя Верочка повернула лодыжку таким образом, чтобы аккуратная штопка на пятке была незаметна, и чуть не упала в обморок от сладких шипучих чувств, когда ее властно вытащили из-за занавеса и надели на нее передник, на котором большими серебряными буквами было написано «У меня самая прелестная ножка в мире». К тому же был вручен картонный башмачок, изготовленный в театральных мастерских и наполненный шоколадными конфетами. Все это, включая и окаменевшие конфеты, долго еще хранилось

в нижнем ящике секретера ее матери Елизаветы Ивановны, оказавшейся неожиданно чувствительной к успеху дочери в области, лежащей, по ее представлениям, за гранью пристойного.

Александра Сигизмундовича, приехавшего из Питера на гастроли, пригласил на праздник сам Таиров. Аристократический гость весь вечер не отходил от Верочки и произвел на нее глубочайшее впечатление, а под утро, когда бал закончился, собственноручно надел на премированную ножку белый фетровый ботик, смелую вариацию на тему русского валенка, но на высоком каблуке, и проводил ее домой, в Камергерский переулок. Было еще темно, медленно падал бутафорский снег, театральным желтым светом горели фонари, и она чувствовала себя премьершей на огромной сценической площадке. Одной рукой она прижимала к себе завернутые в газету нарядные туфли тридцать четвертого размера, другая ее рука блаженно лежала на его рукаве, а он читал ей вышедшие из моды стихи опального поэта.

В тот же день он уехал в свой Ленинград, оставив ее в полнейшем смятении. Обещал вскоре приехать. Но проходила неделя за неделей, от сердечного многоожидания остался у Верочки один только горький осадок.

Профессиональные успехи Верочки были невелики, к тому же балетмейстерша, учившая их современному движению в духе Айседоры Дункан, крепко ее невзлюбила, называла ее теперь не иначе как «прелестная ножка» и не спускала ни малейшего промаха. Бедная Вера вытирала слезы краем древнегреческого хитона из ивановского ситца и не попадала в такт скрябинской экстатической музыки, под которую студийки упражнялись, выкидывая энергично кулачки и колени, дабы перевести неуловимую душу бунтующей музыки в зримые образы.

В один из самых дурных дней той весны у служебного входа встретил Веру Александр Сигизмундович. Он приехал в Москву на две недели для записи нескольких концертов выдающегося скрипача, всемирной знаменитости. В некотором смысле это был звездный час его жизни: скрипач был старомодного воспитания, относился к Александру Сигизмундовичу с подчеркнутым уважением и, как оказалось, помнил о его детской славе. Запись шла великолепно. Впервые за долгие годы страдающее самолюбие пианиста отдыхало, расслабившись и расправившись. Прелестная девушка с серо-голубыми муаровыми глазами трепетала от одного его присутствия — одно вдохновение питалось от другого...

Что же касается юной Верочки, весь учебный год старательно изучавшей таировские «эмоционально-насыщенные формы», в ту весну она раз и навсегда утратила ощущение границы между жизнью и театром, «четвертая стена» рухнула, и отныне она играла спектакль своей собственной жизни. В соответствии с идеями глубоко-чтимого учителя, требующего от своих актеров универсальности — от мистерии до оперетки, — как сам он говорил, Верочка в ту весну разыгрывала перед умиленным Александром Сигизмундовичем амплуа «инженю драматик».

Благодаря совместным усилиям природы и искусства роман был восхитительным — с ночными прогулками, интимными ужинами в маленьких кабинетах самых известных ресторанов, розами, шампанским, острыми ласками, доставлявшими обоим наслаждение, может быть, большее, чем то, которое они пережили в последнюю московскую ночь, перед отъездом Александра Сигизмундовича, в час полной капитуляции Верочки перед превосходящими силами противника.

Счастливый победитель уехал, оставив Верочку в сладком тумане свежих воспоминаний, из которых постепенно стала проступать истинная картина ее будущего. Он успел поведать ей, как несчастлива его семейная жизнь: психически больная жена, маленькая дочка с родовой травмой, властная теща с фельдфебельским нравом. Никогда, никогда он не сможет оставить эту семью... Верочка замирала от восторга: как он благороден! И свою собственную жизнь ей хотелось немедленно принести ему в жертву. Пусть будут длинные разлуки и короткие встречи, пусть лишь какая-то доля его чувств, его времени, его личности принадлежит ей — та, которую он сам пожелает ей посвятить.

Но это была уже другая роль — не преобразившейся Золушки, цокающей стеклянными каблуками по ночной мостовой при свете декоративных фонарей, а тайной любовницы, стоящей в глубокой тени. Поначалу ей казалось, что она готова держать эту роль до конца жизни, своей или его: несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ними и однообразные тоскливые письма. Так тянулось три года — в Вериной жизни стал проступать привкус скучного женского несчастья.

Актерская карьера, толком не успев начаться, закончилась — ей предложили уйти. Она вышла из труппы, но осталась работать в театре секретарем.

Тогда же, в тридцать восьмом, она сделала первую попытку освободиться от изнурительной любовной связи. Александр Сигизмундович смиренно принял ее волю и, поцеловав ей руку, удалился в свой Ленинград. Но Верочка не выдержала и двух месяцев, сама же вызвала его, и все началось заново.

Она похудела и, по мнению подруг, подурнела. Появились первые признаки болезни, еще не опознанной:

глаза блестели металлическим блеском, порой комок застревал в горле, нервы пришли в расстройство, и даже Елизавета Ивановна стала слегка побаиваться Верочкиных домашних истерик.

Прошло еще три года. Отчасти под давлением Елизаветы Ивановны, отчасти из желания поменять свою, как теперь она оценивала, неудавшуюся жизнь, она снова порвала с Александром Сигизмундовичем. Он тоже был измучен этим трудным романом, но первым не решился бы на разрыв: он любил Верочку очень глубокой и даже возвышенной любовью — всякий раз, когда приезжал в Москву. Своей страстной и аффектированной влюбленностью она питала его несчастное и больное самолюбие. На этот раз расставание как будто удалось: начавшаяся война надолго их разлучила.

К этому времени Верочка уже лишилась своей незавидной секретарской должности, обучилась скромному бухгалтерскому ремеслу, но бегала на репетиции, втайне примеряла на себя некоторые роли, особенно по душе ей была роль мадам Бовари. Ах, если бы не Алиса Коонен! Тогда казалось, что все еще может повернуться вспять, и она еще выйдет на сцену в барежевом платье, отделанном тремя букетами роз-помпон с зеленью, и пройдет в кадрили с безымянным виконтом в имении Вобьесар... Это была такая зараза, о которой знают только переболевшие. Вера пыталась, не покидая театра, освободиться от театральной зависимости, даже завела поклонника, что называется, «из публики», исключительно положительного и столь же безмозглого еврея-снабженца. Он сделал ей предложение. Она, прорыдав всю ночь, отказала ему, гордо объявив, что любит другого. То ли был в Вере какой-то изъян, то ли полное непопадание в образы времени, но ее хрупкая нежность, внутренняя готов-

ность немедленно прийти в восторг и душевная subtilность, которая была в моде в чеховские, скажем, времена, совершенно никого не прельщали в героическом периоде войны и послевоенного завершения социалистического строительства... Что ж, никого так никого... Но не снабженец же...

Потом была эвакуация в Ташкент. Елизавета Ивановна, доцент педагогического института, настояла, чтобы дочь уволилась из театра и поехала с ней.

Александр Сигизмундович попал в эвакуацию в Куйбышев, несчастная его семья выехать не успела и погибла в блокаду. В Куйбышеве он жестоко болел, три воспаления легких подряд едва не свели в могилу, но его выходила медсестра, крепкая татарка из местных. На ней он и женился из одиночества и слабости.

Когда после войны Верочка и Александр Сигизмундович встретились, все снова началось, но в слегка изменившихся декорациях. Работала она теперь в Театре драмы, куда устроилась бухгалтером. Любила теперь вместо Алисы Коонен Марию Ивановну Бабанову, ходила на ее спектакли, они даже улыбались друг другу в коридорах. Александр Сигизмундович снова встречал ее у служебного входа, и они шли по Тверскому бульвару в Камергерский переулок. Он опять был несчастлив в браке, опять у него была болезненная дочка. Он постарел, утоньшился, был еще более влюблен и еще более трагичен. Роман всплеснул с новой океанической силой, любовные волны выносили их на недосыгаемые высоты и стряхивали в глухие пучины. Может быть, это и было то самое, чего желала Верочкина неутоленная душа. В те годы ей часто снился один и тот же сон: посреди какого-то совершенно бытового действия, например чаепития с мамой за их овальным столиком, она вдрут

обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо нее — темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями...

Как и прежде, он приезжал в Москву три-четыре раза в год, останавливался обыкновенно в гостинице «Москва», и Верочка бегала к нему на свидания. Она смирилась со своей судьбой, и только поздняя беременность изменила течение ее жизни.

Роман ее длился долго, как она и напроначала себе в юности, — «до самой смерти»...

2

Ходила Вера как с девочками ходят: животик яблоком, а не грушей, лицо мягко расплылось, зернистый коричневый пигмент проклюнулся возле глаз, и двигался в животе ребенок плавно, без грубостей. Ждали, конечно, девочку. Елизавета Ивановна, чуждая всяким суевериям, готовилась к рождению внучки заранее, и, хотя специально она не держалась розовой гаммы, как-то случайно подобралось все детское приданое розовым: распашонки, пеленки, даже шерстяная кофточка.

Ребенок этот был внебрачным, Вера немолода, тридцать восемь лет. Но эти обстоятельства никак не мешали Елизавете Ивановне радоваться предстоящему событию. У нее самой брак был поздний, родила она единственную дочь уже к тридцати, и вдовой осталась с тремя детьми на руках: с семимесячной Верочкой и двумя падчерицами-подростками. Выжила сама, вырастила девочек. Впрочем, старшая падчерица уехала из России в двадцать четвертом году и уж больше не

вернулась. Младшая падчерица, всем сердцем повернувшаяся к новой власти, отношения с Елизаветой Ивановной прекратила как с человеком старорежимным и отстало-опасным, вышла за советского начальника средней руки и погибла в предвоенные годы в сталинских лагерях.

Весь жизненный опыт Елизаветы Ивановны склонял ее к терпимости и мужеству, и маленькую новую девочку, неожиданное прибавление в семье, она ждала с хорошим сердцем. Дочь-семья, дочь-подруга, помощница — на этом стояла и ее собственная жизнь.

Когда вместо ожидаемой девочки родился мальчик, обе они, и мать, и бабушка, растерялись: нарушены были их заветные планы, не состоялся семейный портрет, который они в мыслях заказали: Елизавета Ивановна на фоне их чудесной голландской печки стоит, Верочка сидит таким образом, что руки матери лежат у нее на плечах, а на коленях у Верочки чудесная кудрявая девочка. Детская загадка: две матери, две дочери и бабушка с внучкой...

Личико ребенка Вера разглядела хорошенько еще в роддоме, а развернула его впервые уже дома и была неприятно поражена огромной по сравнению с крошечными ступнями ярко-красной мошонкой и немедленно воспрянувшей очень неделикатной фитюлькой. В тот миг, пока она взирала с растерянностью на этот всем известный феномен, лицо ее оросилось теплой струей.

— Ишь, какой проказник, — усмехнулась бабушка и пощупала пеленку, которая осталась совершенно сухой. — Ну, Веруся, этот всегда из воды сухим выйдет...

Младенец играл лицом, какие-то разрозненные выражения сменяли друг друга: лобик хмарился, губы улыбались. Он не плакал, и было непонятно, хорошо ему